

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 31

К концу 1920-х годов Русская Православная Церковь была разделена на патриаршую, возглавляемую митрополитом Сергием, обновленческую, единоверческую, Катакомбную, Союз Общин Древнеапостольской Церкви, “липковскую” (по имени священника Василия Липкова), автокефальную украинскую... И ведь перечислены далеко не все.

“Дом, разделившийся в себе, не устоит...”

Это прекрасно понимал будущий Патриарх Московский и Всея Руси Сергей Страгородский. По его инициативе Московская Патриархия 23 апреля 1929 года выпустила “Деяние” о старообрядческих богослужебных книгах и обрядах:

“1. ПРИЗНАЁМ

а) богослужебные книги, напечатанные при первых пяти Российских патриархах, православными;

б) свято хранимые многими православными, единоверцами и старообрядцами церковные обряды по их внутреннему знаменованию – спасительными;

в) двоеперстие, слагаемое в образ Святой Троицы и двух естеств в Господе Нашем Иисусе Христе – обрядом, в Церкви прежнего времени несомненно употреблявшемся и в союзе со св. церковью благодатным и спасительным.

2. Порицательные выражения, так или иначе относящиеся до старых обрядов, в особенности до двоеперстия, где бы оные ни встречались и кем бы ни изрекались, отвергаем и яко небывша вменяем.

3. Клятвенные запреты, изреченные Антиохийским патриархом Макарием и другими архиереями в феврале 1656 г. и собором 23 апреля того же 1656 г., а равно и клятвенные определения собора 1666–1667 гг. как послужившие камнем преткновения для многих ревнителей благочестия и поведшие к расколу св. Церкви разрушаем и уничтожаем и яко небывша вменяем”.

Ф. Е. Мельников в “Краткой истории древлеправославной (старообрядческой) церкви” заметил, что это определение “запоздало... более чем на два с половиной века”... Собственно говоря, приспело оно к тому времени, когда власть приступила к уничтожению церкви всерьёз.

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3, 6, 7, 9, 10 за 2010 год, № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 за 2011 год, № 1, 2, 4 за 2012 год.

Уже не дискутировали о значении колокольного звона, уже не было нужды в публичных диспутах со священнослужителями, уже и обновленческая церковь (“филиал ГПУ”) сыграла свою роль. Да и “октябрины”, и “комсомольские рождества” с их антихристианским похабством бушевали в последний раз в XX столетии – и они уходили в прошлое.

Клюев в это время уже был прихожанином единоверческого храма.

Официально единоверие было учреждено в 1790 году указом императора Павла I по плану инок Никодима, что должно было стать первым шагом на пути восстановления полноты Русской Церкви после великого несчастья – раскола. И ранее в отдалённых никонианских монастырях служили по старому обряду, пытались преодолеть возникшую пропасть – в Анзерском Елеазаровом на Белом море, в Сарове, в Корсунском мужском монастыре Мелитопольского уезда...

Ещё в 1912 году в Санкт-Петербурге на Всероссийском съезде православных старообрядцев под председательством будущего патриарха Московского и Всея Руси Митрополита Сергия Страгородского и будущего патриарха Русской Православной Церкви за рубежом Митрополита Антония Храповицкого был со всей остротой поставлен вопрос о единоверческом епископе и о клятвах соборов 1656-го, 1666-го и 1667 годов. И помимо снятия клятв на староверов съезд предложил церковной власти учредить несколько единоверческих кафедр и постановил, в частности, что “единоверческие епископы объединяют вокруг себя старообрядцев разных согласий и поддерживают в народе мысль о до-Никоновом единстве” и что “Православная Церковь прекращает полемику по вопросам обряда и богослужения”, а также “Восстанавливается Патриаршество и созывается Собор с участием Вселенских Патриархов для восстановления церковного единства”.

Времени на исполнение этих постановлений уже практически не было. И Сергей Страгородский довёл лишь в 1929-м в “Деянии” до необходимого завершения начатое в 1912-м.

Но твёрдые в вере староверы и тогда говорили и писали о единоверии, как о ловушке.

“Единоверие, как явление исторической жизни русского народа, создававшееся среди неутомимой борьбы староверия и нововерия, представляется как бы вынужденною подачкою старообрядцам со стороны духовной власти Русской церкви, – писал старообрядец поморского согласия Л. Ф. Пичугин. – ... Единоверцы величаются именем православных, молитвословят по старо-патриаршим книгам, имеют особых священников, но не имеют собственных епископов, строят церкви в древнем стиле и служат литургии по старым Службникам. Вообще по внешнему взгляду единоверческая церковь похожа на древнюю староверческую церковь, и люди подобные Никодиму и московским строителям Единоверия пленяются, без внимательной оценки с внутренней стороны, в ловушку Единоверия и присоединяются к оному...”

Фёдор Евфимьевич Мельников охарактеризовал Единоверие как “переходную церковь – от старообрядчества в новообрядчество... Принадлежащие к этой церкви именуются единоверцами, или соединенцами. Названы они так потому, что будто бы имеют одну веру с новообрядческой церковью. На самом же деле они не имеют полного единства в вере ни с новообрядцами (то есть Последователями никоновской церкви), ни со старообрядцами...”

Не согласился бы с подобной категоричностью Николай Алексеевич Клюев, ушедший от крайностей староверия в неприятии всей действительности и начертавший: “кто за что, а я за двоеперстие”, ищущий, взыскующий единения в Духе, в Благодати, словом, соединяющий эпохи и миры, пытающийся заново обрести себя в разламывающейся неуютной действительности.

“... В условиях безбожного ига в России... невозможно свободное обсуждение церковных и вообще религиозных вопросов. Для этого нужно ждать других времён...” (Ф. Е. Мельников).

Не антиправославная “художественная самодеятельность” – всё решала и вершила железная рука окрепшего нового государства.

“Мы не нуждаемся ни в каком патриотизме...”, – так было заявлено бывшим “богостроителем” Луначарским в 1928 году. Почему не нуждаемся? Потому что нужно “отказаться от обломовщины”... Поставив знак равенства между “обломовщиной” и патриотизмом, уже можно было изрекать любые сентенции, ласкавшие всегда слух либералов всех мастей и ласкающие его по сей

день. Оказывается, “обломовщина является нашей национальной чертой”, ибо “мы не совсем “европейцы” и очень, очень мало “американцы”, но в значительной степени – азиаты. Это, так сказать, дань нашему евроазиатству” (ком грязи в сторону евразийцев!). Идеал наркома просвещения – “человек западного типа”, который “не чувствует себя гражданином определённой страны... является интернационалистом”...

Лекция сия называлась “Воспитание нового человека”.

Новый человек в эти годы воспитывался поистине ударными темпами. И одной из главных “мер воспитания” стало разрушение привычной среды, изменение всей атмосферы в стране.

*Я предлагаю
Минина расплавить,
Пожарского.
Зачем им пьедестал?
Довольно нам
Двух лавочников славить —
Их за прилавками
Октябрь застал.*

*Случайно им
Мы не свернули шею.
Я знаю, это было бы под стать.
Подумаешь,
Они спасли Рассею!
А может, лучше было б не спасать?*

Это стихи Джека Алтаузена из журнала “30 дней” 1930 года. Апологет “одемянивания поэзии” (ещё один популярный лозунг тех лет) – он возмущался тем, что “бронзу не даёт Оргметалл” на памятник Н. А. Некрасову. И предлагал самый “рациональный” способ его добычи.

“Предложения” эти, впрочем, не то чтобы запаздывали, но были, скорее, дополнительным шумовым фоном к грохоту сносимых памятников Русского Православия и русской архитектуры. “Новый человек” должен был соответствовать “новому городскому ландшафту”. Рушились, взлетали на воздух, превращались в груды камней и строительной пыли часовня Александра Невского, Вознесенский и Чудов монастыри, Храм Христа Спасителя, Красные Ворота, башни Китай-города... Останки Кузьмы Минина были взорваны вместе с храмом в Нижегородском кремле, а мрамор с надгробия Дмитрия Пожарского в Спасо-Ефимиевом монастыре в Суздале украсил фонтан одной из дач, а сам монастырь был превращён в колонию для малолетних преступников... За несколько лет этого оголтелого натиска на русскую историю, на Православие из множества храмов на земле русской осталось лишь 15 тысяч, ставших складскими помещениями, клубами, трансформаторными будками. Богослужение велось лишь в семистах, и эти семьсот обитателей обречённо ждали своего конца, который должен был совпасть с концом “безбожной пятилетки”.

“Молодые, да ранние” стихотворцы заходились в ликующих криках при виде конца “старой Руси”. Еврей Алтаузен здесь ничем не отличался по сути от русского Ивана Молчанова, писавшего двумя годами позже:

*Устои твои
Оказались шаткими,
Святая Москва
Сорока-сороков!
Ивану кремлёвскому
Дали по шапке мы,
А пушку используем для тракторов!*

Завершающей “победной реляцией” с полным правом можно считать выступления на 1-м съезде советских писателей в 1934-м.

“Снят Охотный ряд, нет Хитрова рынка, нет Китайгородской стены, нет Сухаревки, нет той старины, за которую многие цеплялись, той старины, ко-

торая нам мешала переделывать Москву старую в Москву социалистическую. Некоторые цеплялись за эту старину. Наш испытанный руководитель, Л. М. Каганович, инициатор нового архитектурного оформления Москвы, — дал отпор этому сопротивлению, и китайгородские камни, камни “Сорока-сороков” мы загнали в наши туннели и заставили служить делу социализма” (делегат от Московского метростроя Коробов).

Испытанный руководитель, конечно, удостоился и стихотворной похвалы. И, конечно, всё от того же Джека Алтаузена:

*Ходит слово о нём от камчатских снегов
До Абхазии, солнцем палимой.
Он — из племени сталинских горных орлов,
Каганович, нарком наш любимый!*

“Я живу в гостинице “Восток” и каждую ночь в эти дни прохожу Старой площадью мимо здания ЦК, где сносят Китайгородскую стену и всю ночь гудронируют её следы.

Гулко стучат шаги в первом часу ночи. Ещё с большим гулом обрушиваются на старый сдираемый гудрон молотки, отбивающие слежавшийся старый пласт, сращиваемый с новым. И трудно расслышать фразу в споре в разговоре рабочих... На этот раз (вчера) обрывок фразы заставил меня остановиться:

“Сдавайся, фашист!.. не поддаёшься... поддашься! Споре, ребята! Не сдавай!” — и опять зачастивший ритм трёх молотков... Какое поэтическое воображение так смело, без помарок выбирает метафору? Как отбиваемый здесь гудрон, будет завтра содран фашизм с поверхности всего земного шара, чтобы торжествующее освобождение трудящихся мира посадило на клумбах социализма цветы...” (Дмитрий Петровский).

То, что в 1934-м году стали называть “фашизмом”, — в 1929-м характеризовалось как “исторический мусор”. Во всяком случае именно так назвал наследие предков некто В. Блюм (и имя таким “блюмам” тогда было — легион), сокрушающийся, что до сих пор стоит “оскорбительный” памятник 1000-летию России в Новгороде, а в Москве “не думают убираться восвояси гражданин Минин и князь Пожарский”... (В 1939 году неуспокоившийся “коммунист-идеалист” — именно так называли этого подонка в 2000-м в журнале “Вопросы истории”! — писал Сталину, что, дескать, “характер социалистического патриотизма... кое-где начинает у нас получать черты расового национализма” и что “оборонческая агитация” новейшей современной драматургии “носит все черты... оборончества кадетской литературы 1914 года...” В общем, представитель той породы, что “ничего не забыла и ничему не научилась”.)

Русская история как предмет в школах давно была отменена, а в том же 1929-м со всей остротой встал вопрос о переводе русской письменности с кириллицы на латиницу (к счастью, эта дикая идея через несколько лет была окончательно похоронена). На первом же заседании комиссии по разработке вопроса о латинизации русского алфавита, созданной по инициативе Наркомпроса РСФСР, было заявлено, что “русский гражданский алфавит в его истории является алфавитом самодержавного гнёта, миссионерской пропаганды, великорусского национал-шовинизма” и что “он до сих пор связывает население, читающее по-русски, с национально-буржуазными традициями русской дореволюционной культуры”... Была отменена христианская неделя и введена так называемая “шестидневка”, а на 11-м съезде воинствующих безбожников под лозунгом “Через безбожие — к коммунизму” предлагалось отменить старое летоисчисление как таковое и ввести новое — от Октябрьской революции. Ломать — так всё сразу и не останавливаясь!

“Десятки партийных ораторов и сотни услужливых перьев, — писал позднее Алексей Толстой, — на все лады изошрялись в насмешливых проклятиях “русотяпам”, “русотяпам”, “русотетам”; “мы расстреляли толстозадую бабу Россию”... (Через 60 лет уже наше поколение станет свидетелем такого же по сути погрома.) Это было время подлинного торжества “коммунистов-интернационалистов”, ненавидевших Россию как таковую, и Алексей Лосев именно о таком “коммунизме” писал в “Диалектике мифа”, что “марксизм и коммунизм есть наиболее полное выражение еврейского (сатанинского) духа”.

В эту эпоху искоренения в России всего русского Ключев и создавал великий русский миф, великий русский эпос, изначально названный “Последняя

Русь”, получивший в конце концов название “Песнь о Великой Матери”. О Великой Матери-Руси. И не последней.

* * *

Многослойное, многомудрое поэтическое повествование перебивается в строго отмеченные паузы авторскими отступлениями, и одно из них – в самом начале второй части – ключевое для поэта.

*Неупиваемая чаша,
Как ласточки звенящих лет,
Я дал пред родиной обет
Тебя в созвучья перелить,
Из лосьих мыков выпрясть нить,
Чтоб из неё сплести мережи!
Авось любовь, как ветер свежий,
Загонит в сети осетра,
Арабской черни, серебра,
Узорной яри, аксамита,
Чем сказка русская расшита!
Что критик и газетный плут,
Чихнув, архаикой зовут.
Но это было! Было! Было!
Порукой лик нездешней силы —
Владимирская Божья Мать!
В её очах Коринфа злать,
Мемфис и пурпур Финикии
Сквозят берёстою России
И нежной просинью Вифезды.
В глухом Семёновском уезде —
Кто Светлояра не видал,
Тому и схи́ма — чёртов бал!*

...Несколько сюжетных ходов, несколько сакральных узлов держат всё поэтическое повествование о Вечной Руси, становящейся Последней Русью в адской современности – готовой к уходу с Земли и новому нисхождению на неё... История жизни семьи в “милом Поморье” – судьба матери поэта Прасковьи... Тайный собор “радельцев веры правой”... Смерть матери и, наконец, явление самого поэта в Феодоровском соборе в предреволюционные роковые дни – и две ключевых встречи тех дней... Встреча с Григорием Распутиным. Встреча с Сергеем Есениным.

Увертюра к поэме – сказочное, мифологическое Поморье – и новое Рождество. Медленный песенный хорей, тут же напоминающий о “Калевале” и “Песни о Гайавате” (“Эти притчи – в день Купалы звон на Кижях многоглавых, где в горящих покрывалах, в заревых и рыбьих славах плещут ангелы крылами...) сменяется торжественным амфибрахием. Мы видели, как свершается под пером Клюева “Рождество избы” и “Рождество иконы” (в “Погорельщине”). Теперь, на наших глазах, свершается Рождество Храма под песнь Сирина, пророчащего “Руси осиянной конец”...

*С товарищи мастер Аким Зяблецов
Учились у кедру порядку венцов,
А рубке у капли, что камень долбит,
Узорности ж крылец у белых раки —
Когда над рекою плывёт синева,
И вербы плетут из неё кружева,
Кувшинами крылец стволы их глядят
И лёгкою кровлей кокошников скат.
С товарищи мастер предивный Аким
Срубили акафист и слышен и зрим,*

*Чтоб многие годы на страх сатане
Саронская роза цвела в вышине.*

Это — сказка, сказка, которую рассказывает поэт своему наперснику в ночные часы, напевая колыбельную и сказывая свою родословную, творя свой миф, органически вплетающийся в миф исторический и религиозный. “Руси осиянный конец” предшествует “Руси осиянное начало”, уходящее в глубь тысячелетий. Сакральный центр — Дом, в горенке которого “и свет, и сумрак не случаен” (намеренно искажённая здесь чуть-чуть клюевская строка). Краса телесная и духовная, одухотворённая в каждом проявлении бытового или природного жеста...

*Родимое, сказкою став,
Перистей озёрных купав,
Лосёнку в затишье лесном
Смежает ресницы крылом:
Бай, бай, кареглазый, баю!
Тебе в глухаринном краю
Про светлую маму пою!*

“Светлая мама”, восемнадцатилетняя Прасковья, снедаемая любовью к Феодору Стратилату и Егорию, писанным на иконах, обуреваемая тоской, отправляется в путешествие к “Аринушке-подружке”... Путешествие, которое волей-неволей отсылает к знаменитому “Поучению Владимира Мономаха”:

“Седя на санех, помыслих в душе своей и похвалив Бога иже имя сих дней грешнаго допровади...”

*От Соловецкого погоста
До Лебединого скита,
Потом Денисова Креста
Завьются хвойные сузёмки...*

Явь чередуется со сном, и жизнь Параши перетекает из сна в явь... Сон для Клюева — иная жизнь, многое раскрывающая в жизни наяву и о многом пророчащая, и переселяющая поэта в иные миры. Так и Прасковья — (“у матушки девятый сон”) — видит внутренним зрением святых Феодора Стратилата, Дмитрия Солунского — грядущих женихов...

Но перед этим после “Рождества храма” — Рождество жизни беломорской русской семьи, где “отец богатырь и рыбак, а мать — бледнорозовый мак”... Сказочная мифическая жизнь разворачивается, как таинственное полотно под клюевским пером, где каждая природная примета и каждый предмет быта живут (именно живут, а не существуют!) в общей живой гармонии с миром человеческим и с миром горным. И здесь — хочешь не хочешь — а услышишь его прямой диалог с тем, о ком писал он с десятков с лишним лет тому назад: “Моя душа, как мох на кочке, пригрета пушкинской весной”...

Тогда он именно “пригревался” пушкинским словом, прозревая в стихотворных сказках его древнейшую индоевропейскую мифическую основу, которую сам стремился воплотить в русском эпосе. И вот — его время пришло. Выброшенный из литературного процесса, объявленный “кулацким поэтом”, вне околотрудовой суеты, в редком общении лишь с самыми близкими да избранными, он бесстрашно вступает в спор с Пушкиным на “земле” величайшего русского поэта — на почве романовско-петербургской.

Но — стоит ещё раз вспомнить издевавшегося над Клюевым ещё до революции Михаила Левинова. Его статью “Упрощение культуры” — “открытие” первого номера “Красной нови”, куда Клюеву не было доступа, — Николай, конечно, читал и хорошо помнил.

“Стояла изба: вшивая, грязная изба, тускло освещённая коптящим ночником, а то и лучиной, но с редкостными гобеленами на стенах. Эта изба была уродством — непозволительным, оскорбляющим, как всё противоестественное, уродством. В музее было место этому уродству, и в музее, в банке со спиртом было место российской культуре — культуре небывалого уродства

и извращения. Подлинно извращением было, что неумытая и безграмотная, чеховская и бунинская Русь позволила себе роскошь иметь Чехова и Бунина, и более того — Скрябина, Врубеля и Блока... Оскорбительно — социально и эстетически — для народа быть удобрением, в котором так нуждаются пышные цветы культуры для немногих. Полтора года после Петра — один Пушкин и 99% безграмотных. Нет, довольно. Протвоестественное уродство пора прекратить. Вопиющему уродству не должно быть более места. Банку музейную, где в поту, слезах и крови, как лебедь, горделивая и белоснежная, плавала безмятежно культура, нужно разбить...” Даже любопытно наблюдать, как это безграмотное лефовское “пойло” “переплёскивается” со словесными “брызгами шампанского” Андрея Белого, певшего гимны Ключеву сразу после революции и на дух не принявшего “Погорельщину”. В “Арбате”, напечатанном в журнале “Россия” он пел восторженным тенором по сути ту же самую партию: “. . . Мужик есть явление очень странное даже: лаборатория, претворяющая ароматы навоза в цветы; под Горшковым, Барановым, Мамонтовым, Есениным, Ключевым, Казиним — русский мужик; откровенно воняет и тем, и другим: и — навозом, и розою — в одновременном “хаосе”; мужик — существо непонятное; он — какое-то мистическое существо...; из целин матерщины, из воня Горшкова бьёт струйная эвритмия словес...”

В полной красе Ключев показал в поэме и это “непозволительное уродство”, и эту “лабораторию, претворяющую запах навоза в цветы”... Здесь уже не было место красочности и самодовлеющему орнаменту “Избанных песен”. Таинство русского духовного мира раскрывается в ключевской избе, воплощаемое в гармоничной простоте поэтического слова.

*У горенки есть много таин,
В ней свет и сумрак не случаен,
И на лежанке кот трёхматный
До марта с осени ненастной
Прядёт просонки неспроста.
Над дверью медного креста
Неопалимое сиянье, —
При выходе ему метанье,
Входящему — в углу заря
Финифти, черни, янтаря
И очи глубже океана,
Где млечный кит, шатры Харрана
И ангелы, как чаек стадо,
Заворожённое лампадой —
Гнездом из нитей серебра,
Сквозистей гагачья пера...*

И совершенное таинство даже в пошиве одежды... Ключев исподволь усмехается, вспоминая пушкинского Онегина, что был “как Dandy лондонский одет”, перемигивается с Пушкиным, иронизирующим над нарядом своего героя:

*Конечно б, это было смело,
Описывать моё же дело:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет...*

Этому можно усмехнуться. Но в русском доме, исполненном таин, всё подчинено чувству родного, кровного, запазушного, всё свершается с мыслью избавления “от лиха и зла”.

*Плясала у тётушки Анны
По плису игла неустанно
Вприсядку и дыбом ушко, —
Порты сотворить не легко!
Колешки, глухое гузёнце,*

*Для пуговицы совы оконце,
Карман, где от волчьих погонь
Укроется сахарный конь.*

*Я помню зипун и сапожки
Весёлой сафьянной гармошкой,
Шушукался с ними зипун:
“Вас делал в избушке колдун...”*

*Шептали в ответ сапожки:
“Тебя привезли рыбаки
И звали аглицким сукном,
Опосле ты стал зипуном!..”*

И, естественно, над оюновкой из заморского сукна необходимо провести магический обряд ради изгнания чуждого духа.

*“...И тётушка Анна отрез
Снесла под куриный навес,
Чтоб петел обновку опел,
Где дух некрещёный сидел.
Потом завернули в тебя
Ковчежец с мощами, любя,
Крестом повязали тесьму —
Повывесть заморскую тьму,
И семь безутешных недель
Ларец был тебе колыбель,
Пока кипарис и тимьян
На гостя, что за морем ткан,
Не пролили мира ковши,
Чтоб не был зипун без души!..”*

Этот чудодейственный мир обречён исчезнуть с лица земли — и слишком много тому примет, пророчащих неизбежный конец... “Ах, заколот вещей лебедь на обед вороньей стае, и хвостом ослиным в небе дьявол звёзды выметает...” “Пожрали сусального волки, оконце разбито в осколки...” “Увы! Наговорный зипун похитил косматый колдун!..” И путь матери Прасковьи к подружке-Арише предстаёт во сне сущим кошмаром: “Везёт не дядя Евстигней в собольей шубоньке Парашу — стада ночных нетопырей запряжены в кибитку нашу...”

Русь в поэме — “Последняя Русь” — поле битвы сил неземных, сил божественных с силами дьявольскими: “Не жжёт ли гада свет-Егорий Огнём двоперстного креста?!” То ли во сне, то ли наяву Параша после недели гощения отправляется к отцу Нафанаилу — “беглецу из Соловков” (здесь и воспоминания Клюева о собственном бегстве в ранней юности!). И входит к нему уже иной — словно некогда духовная дочь неистового Аввакума приходит на беседу к своему духовному отцу (“И как Морозова Федосья, оправя мокрые волосы, она свой тельник золотой, не чуя, что руда сгорает, над зверем, над ощерой тьмой рукою трезвой поднимает и трижды грозно осеняет!..”). И слышит страшное пророчество:

*...”Пройдут года,
Вы вспомните мои заветы,-
Руси погаснут самоцветы!
Уже дочитаны все свитки,
Златые роспиты напитки,
И у святых корсунских врат
Топор острит свирепый кат!..”*

*В царьградской шапке Мономаха
Гнездится ворон — вестник страха...*

Кажется, что пророчество прямо относится к тем годам, когда Клюев писал свою поэму. Но ещё в большей степени это пророчество можно отнести к более поздним годам, когда расточено было не только царское, но и советское наследие, о чём поэт далее будет пророчествовать в “Песни” уже от своего имени.

Судьба не одной России в этом предсказании, но судьба её певца, сына Прасковьи.

*“...До сатанинского покоса
Ваш плод и отпрыск доживёт
В последний раз пригубить мёд*

*От сладких пасек Византии!..
Прощайте, детушки! Благие
Вам уготованы сады
За чистоту и за труды!..”*

Во снах перед Прасковьей проходит вся история Руси с дохристианских времён... “Цветут сарматские озёра гусиной пралезенью, синью...” Видение переносит её через тысячелетие — и вот

*В простой ладье, рекой напевной,
В полесья северной земли
От Цареграда привезли.
Она Палеолог София,
Зовут Москвой её удел,
Супруг на яхонты драгие
Иваном Третьим править сел....*

Эпоха Ивана III была для Клюева одной из самых дорогих в истории России — ещё в “Ленине” он сравнивал с ней эпоху революционного вихря (“То чёрной неволи басму попрапа стопа Иоанна...”). И насколько же он психологически точен! Матушка не в силах выдержать этих сновидений — особенно когда после царского терема “снится Паше гроб убранный”... Чрезвычайно важно здесь для Клюева и то, что “Арина с тёткой Василистой” для отчитки её — староверки — приглашают лопарского шамана (“Он тёмной древности посланец, по яру — леший, в речке — сом”), и то, что Егорий указывает путь стародавнему киту из тех, на которых держится ископенному веку земля и который отождествлён с поморским домом, — на Восток, “где Брама спит”, — подальше от тлетворного Запада, от которого лишь распад и нестроение на Руси... Запад же уничтожит Русь Святую изнутри, войдя в неё через напороченного Нафанаилом “родимого сына” — и оттого “печаль у старого кита клубится дымом изо рта”...

И саму Прасковью грех не минул. Влеклась к “Федюше, сыну Калистрата”, а отдалась старому вдовцу, отцу “Аринушки-подружки”... И тут в Парашином сне — смертном уже сне — происходит нечто поразительное.

Отправилась в новое путешествие — на Царьград, да в Индию... Да оказалась посреди зимних сугробов в чаще, где возжелал её “Топтыгин, бегун с дремучей Выги”... И здесь сюжет взят непосредственно из жизни.

Уже в 1925 году в Олонецкой губернии в одну из деревень повадился медведь, нападавший на скот. Старики деревенские, памятуя старые “свычаи да обычаи” надоумили, как справиться с бедой. Медведю надо было отдать самую красивую девушку. Выбрали, нарядили невестой, привязали к дереву у медвежьей норы. “Не осуди, Настюшка. Ублажай медведюшек. Заступись за нас, кормилица, не дай лютой смертью изойти”.

Неведомо, что стало с Настенькой (знаковое для Клюева имя!), только историю он эту знал. Как знал и то, что сплошь и рядом медведи нападали на девушек в период менструации... Культ медведя на Севере давний, и невозможно не заметить, как Клюев по возможности избегает при описании сцены

нападения на Парашу назвать медведя даже этим, придуманным (“мёд ведающий”) именем. “Топтыгин” — оно спокойнее, как привыкли называть “прародителя человеческого” на Севере, где предпочитали также говорить “он” или “хозяин”.

А в Парашином сне... Но прежде — о другом источнике, литературном. О том же пушкинском “Евгении Онегине”.

Здесь, я думаю, уже каждый читавший вспомнит сон Татьяны.

*Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей;
Не видя никого, кто руку
С той стороны подал бы ей;
Но вдруг сугроб зашевелился,
И кто ж из-под него явился?
Большой взъерошенный медведь;
Татьяна ах, а он реветь,
И лапу с острыми когтями
Ей протянул; она скрепясь
Дрожащей ручкой оперлась
И боязливymi шагами
Перебралась через ручей;
Пошла — и что ж? Медведь за ней.*

Даже пейзаж, даже погодные условия схожи у поэтов. “Страшат беглянку дебри, уж солнышко на кедре прядёт у векш хвосты, проснулся пень зубатый. Присесть бы... Пар от плата и снег залез в коты...” (Клюев). “Пред ними лес; недвижны сосны в своей нахмуренной красе: отягчены их ветви все клоками снега; сквозь вершины осин, берёз и лип нагих сияет луч светил ночных; дороги нет; кусты, стремнины метелью все занесены, глубоко в снег погружены...” (Пушкин). Но пушкинский медведь берёт в лапы “бесчувственно-покорную” Татьяну и несёт её в “шалаш убогий” к своему куму — на бесовский шабаш. А кум не кто иной, как Онегин, усмиряющий одним словом “моё!” сборище “адских привидений” и убивающий Ленского в этом же тяжёлом Татьянином сне — перед тем, как убить его наяву.

В Парашином сне Фёдор, сын Калистрата, вступает в бой с медведем, убивает супротивника, спасая любимую, и погибает сам. Перед смертью успевает услышать от Прасковьи: “Коль сердце не остыло, — Христос венчает нас!” Последняя радость в земной жизни — обещание венчанным встречи в мире ином, чтобы уже не расставаться. Крепкая вера героя клюевского — и безверие героя пушкинского.

Два типа человеческих, две разных природы, два противоположных отношения к миру и к людям.

На этом диалог с Пушкиным не заканчивается. Клюев, с оглядкой на предшественника, вспоминающего мгновения явления Музы, сам пишет свою поэтическую родословную. “В те дни когда в садах Лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал, в те дни, в таинственных долинах весной при кликах лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являлась Муза стала мне...” Это — Пушкин, чья муза пела “и славу нашей старины, и сердца трепетные сны”... А это — Клюев, говорящий одновременно с великой тенью и с нерадивыми и неразумными современниками, уже замуравившими его в “исконно-посконную” старину, отбросившими его в далёкое прошлое, приговорившими к смерти при жизни, ибо ему якобы “нечем жить”:

*Мои стихи не от перины
И не от прели самоварной
С грошовой выкладкой базарной,
А от видения Мемфиса
И золотого кипариса,
Чьи ветви пестуют созвездья.
В самосожженческом уезде
Глядятся звёзды в Светлояр, —
От них мой сон и певчий дар!*

Он пишет свою “энциклопедию русской жизни” – и в этой “энциклопедии” определяющее место принадлежит его родословной, в которой смешаются временные пласты, сжимается время и вся история Руси словно проходит в спрессованные высшей волей сроки на его глазах.

*Избу рубили в шестисотом,
Когда по дёбрям и болотам
Бродила лютая Литва
И словно селезня сова
Терзала русские погосты
В краю, где на царёвы вёрсты
Ещё не мерена земля.
По ранне-синим половодьям,
К сёмужьим плёсам и угодьям
Пристала крытая ладья.*

*И вышел воин исполн
На материк в шеломе
И лопь прозвала гостя Клюев —
Чудесной шапке на помин!
Вот от кого мой род и корень...*

Действие отнесено к 1600 году, но само явление исполина, скорее, говорит о пришествии варяга – их Клюев вслед за Ломоносовым безусловно относил к славянам. Ломоносовскую “Древнюю российскую историю от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года” он знал великолепно и не раз погружался в это удивительное повествование русского академика.

“Что ж вышепоказанные пруссы были с варягами-россами одноплеменные, из следующих явствует... Снесение домашних наших летописцев подаёт уже повод думать о единоплеменстве сих двух народов, именем мало между собой разнящихся. Нестор предал на память, что Рурик призван на владение к славянам из варягов-россов. Новгородский летописец производит его от пруссов, в чём многие степенные книги согласуются... То ж подтверждает древнее тесное прусское соседство с Россиею, в которой Подляхия и великая часть Литвы заключалась, от чего и поныне Литва древние российские законы содержит. Восточное плечо реки Немени, впадающее в Курский залив, называется Руса, которое имя, конечно, носит на себе по варягам-россам. Сие всё ещё подкрепляется обычаями древних пруссов, коими сходствуют с варягами, призванными к нам на владение...”

Клюев хорошо знал Освальда Шпенглера, писавшего о тождественности мироощущения франков времён Меровингов и русских до эпохи раскола. Он верил в древнейшее и необычное происхождение своего рода и чётко обозначил его в “Песни о Великой Матери”. Мать, Великая Мать-прародительница, Прасковья – Параскева-Пятница – Мать-Сыра-Земля созывает Великий Собор накануне роковых времён, ибо

*Болеет Мать-земля сырая,
И от Норвеги до Китая
Железный демон тризну правит,
К дувану адскому, не к славе,*

*Ведут Петровские пути!
В церковной мертвенной груди
Гнездится змей девятиглавый...*

(Это – и опосредованная отсылка к шабашу, в центре и во главе которого – пушкинский герой, порождение Петровской эпохи.)

А на Собор собираются отовсюду – с Алтая и с Афона, от буддистов и суфиев, от христов и скопцов... Все духовные сокровища, собранные на путях земных самим Николаем, сосредоточивает поэт в “свитках” своей Великой Матери... И собирается Собор – под землёй.

*В подземной горнице, как в чаше,
Незримым опахалом машет
И улыбается слюда —
Окаменелая вода.
Со стен, где олова прослой,
И скопы золота, как рои,
По ульям кварца залегли, —
То груди Матери-земли
Удоем вспенили родник.
Недаром керженский мужик,
Поморец и бегун от Оби
Так величавы в бедном гробе.*

Множество сказаний о подземных жителях ходило среди насельников Русского Севера. . . Ещё Нестор-летописец в Начальной летописи воспроизвёл рассказ безымянного новгородца о диве дивном на Печоре:

“Дивное мы нашли чудо, о котором не слыхали раньше, а началось это ещё три года назад; есть горы, заходят они к заливу морскому, высота у них как до неба, и в горах тех стоит клик великий и говор, и секут гору, стремясь высечься из неё; и в горе той просечено оконце малое, и оттуда говорят, но не понять языка их, но показывают на железо и машут руками, прося железа; и если кто даст им нож ли или секиру, они взамен дают меха. Путь же до тех гор непроходим из-за пропастей, снега и леса, потому и не всегда доходим до них; идёт он и дальше на север”.

“Денисов Крест с Вороньим Бором стоят, как воины дозором, где тропы сходятся узлом. . .” Здесь, в сакральном месте пересечения земных путей и перепоутий, куда нет доступа обычному человеку, в подземном укрывище и собирается “Собор пресветлый” — и слышит страшные пророчества от Маркария — лесного Христа, суфия-Абаза и вещей птицы Гамаюна.

*“К нам вести чёрные пришли,
Что зыбь Арала в мёртвой тине,
Что редки аисты на Украине,
Моздокские не звонки ковыли,
И в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули!*

.....
*Замолк Грицко на Украине,
И Север — лебедь ледяной —
Истёк бездомною волной,
Оповещая корабли,
Что больше нет родной земли!”*

Слышал сам Клюев этот вещий голос, пророчащий о том, что будет с Русью через несколько десятков лет и далее. . . Открыты ему были и обмеление Арала, и Чернобыльская катастрофа, и ядерный реактор в Сарове, и природный катаклизм грядущий — таяние северных льдов. . . Ад надвигается на Святую Русь, которая, покидая землю, “отходит к славам, к заливам светлым и купавам под мирликийский омофор”, в ожидании урочного часа возвращения по велению Божественному. . . Всё это пришло к нему в вещем сне, подобном снам его матери. Открылась вещая тайна, к разгадке которой он шёл всю свою жизнь.

*Так я лишь в сорок страдных лет
Даю за родину ответ,
Что распознал её ракиты
И месяц, ложкою изрытый,
Пирог румяный на отжинки —
Месопотамии поминки,
И что сады Александрии
Цвели предчувствием России.*

Египетская Кибела – Мать богов – ассоциировалась с Землёй. Ключевская Великая Мать – и Мать-Земля, и Мать-Мироздание. Глубинная духовная связь древнейших цивилизаций – на корневом уровне держится по сей день.

Сам Николай навещает в путешествии на грани сна и яви схимонаха Савватия и дядюшку-самосожженца Кондрата – и слышит от Савватия новое пророчество, скорее уже о наших нынешних днях, нежели о тех днях, когда создавалась поэма.

*“...Я вижу белую Москву
Простоволосою гулёной,
Её малиновые звоны
Родят чудовищ наяву,*

*И чудотворные иконы
Не опаляют татарву...”*

Давно было сказано: “Храмов много будет, да молиться в них нельзя будет...” И “простоволосая гулёна” – “хошь – верь, хошь – не верь” – не в силах справиться с “татарвой”, заполняющей древнюю столицу... Бес овладел святой некогда Русью – и святость ушла, и замерла Русь в ожидании своего спасения.

А спасение – будет. Даром что

*“...Безбожие свиной хребет
О звёзды утренние чешет,
И в зыбуны косматый леший
Народ развенчанный ведёт.
Никола наг, Егорий пеший
Стоят у китежских ворот!”*

Более совершенного воплощения в поэтическом слове русской трагедии не было, и это воплощение передано в абсолютной простоте слова, слышанного Ключевым и вложенного им в уста Савватия. Западное иго, сродни прежнему татарскому, надвинулось на Русь – но победа ещё впереди.

*“...В шатре Батыя мёртвый витязь.
Дремуч и скорбен бор ресниц,
Не счесть ударов от сулиц,
От копий на рязанской свите,
Но дивен Спас! Змею копытя,
За нас, пред ханом павших ниц,
Егорий вздыбит на граните
Наследье скифских кобылиц!”*

Это уже прямое обращение к “Медному всаднику”. К герою пушкинской поэмы, к тому, кого Ключев назвал ещё в 1919-м “барсом диким”. К тому, при виде которого бедный Евгений испытал самый настоящий ужас.

*Ужасен он в окрестной мгле!
Какая сила в нём сокрыта!
.....
О мощный властелин Судьбы!
Не так ли ты над самой бездной*

*На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?*

Над бездной... принеся ей спасение железной уздой? Нет, Ключев не может с этим согласиться. Потому что ужас остаётся ужасом. Перемена участи остаётся переменной участи. Пётр продолжил дело своего отца, усугубил его, повернув Россию на не естественный для него путь. И этот поворот сопровождался массовым человекоубийством.

А самое главное то, что Пушкин назвал своим именем.

*...И обращён к нему спиною
В неколебимой вышине,
Над возмущённою Невою,
Стоит с простёртою рукою
Кумир на бронзовом коне.*

Кумир. А ведь заповедь Христова – “не сотвори себе кумира”...

Егорий – не кумир. Он святой. И ему, сошедшему с иконы, Господом предназначено занять место свергнутого кумира и попать змею.

Клюев сам пережил наводнение в Петрограде 23 сентября 1924 года, когда на город обрушилось второе по силе за всю его историю наводнение, когда вырвало с корнем множество деревьев в Летнем саду – “приюте Эрота”... Уже тогда, видимо, в его воображении вставал Егорий на каменном постаменте вместо Петра.

И воочию встаёт Петровское создание пред нашими глазами в третьей части (“третьем гнезде” по-клюевски) поэмы, где Клюев со своим “богоданным вещим братцем” Есениным оказывается в Феодоровском соборе.

*Я, прохожий, тельник на шее,
Светлоярной кувшинке молюсь:
Клич кукушкой царя от Рассеи
В Соловецкую белую Русь!*

Бесполезно! “В Соловецкую белую Русь” не пустит вездесущий Григорий Распутин.

Он изображён в поэме так, что все бульварные карикатуры, все пошлые старые газетные статейки кажутся ничтожным мусором перед этой зловещей, притягательной в своём духовном зле фигурой, выписанной клюевским пером. Психолог и маг, поэт в злобных и ироничных характеристиках царя и царицы, нечистый, пляшущий с дьявольским отродьем – Бафометом (явно привнесённом в поэму из книги Нилуса “Близ есть при дверех”), он, в жизни “православный искони” (именно это слышит от него Клюев), творит чёрную обедню на глазах потрясённого поэта.

И что рядом с подобной картиной сочинительство Арона Симановича, изображавшего Распутина игрушкой в руках еврейских банкиров, позднейшие грубые карикатуры Валентина Пикуля и Элема Климова?

*Куда ты скачешь, гордый конь?
И где опустишь ты копыта?*

Копыта коня замерли в воздухе, а на стогнах Петербурга стучат копыта омерзительного козла, кружащегося в дикой пляске с Распутиным.

И такую нечисть, действительно, грех не стереть с лица земли.

Был ли посвящён Клюев в то злодейство, что сотворилось зимним вечером 1916 года? Невозможно утвердительно ответить на этот вопрос, но невозможно не задать и другой: только ли художественное изображение диктовало ему монолог главного организатора убийства – Великого Князя Дмитрия Павловича?

*Чу! Звякнул медною подковой
Кентавр на площади Сенатской.
Сегодня корень азиатский
С ботвою срежет князь Димитрий,
Чтоб не плясал в плющёвой митре
Козлообраз в несчастном Царском.
Пусть византийским и татарским
Европе кажется оно,
Но только б не ночлежки дно,
Не белена в цыганском плесе!
“Не от мальчишеской ли рыси
Я заплутал в бурьяне чёрном*

*И с Пуришкевичем задорным
Варю кровавую похлёбку?
Ах, тяжко выкогтить заклёпку
Из Царскосельского котла,
Чтоб не слепила злая мгла
Отечества святыя очи!..”
Так самому себе пророчил
Гусарским красноречьем князь...*

И видение дымящегося, сожжённого Распутина сопровождается видением покойников, съеденных раками да налимими (отсылка к пушкинскому “Утопленнику”) выходцев с того света... Последняя просьба Распутина – разбить мидийским крестом ледяную тюрьму – исполнена, даром что Григорий так и остался для Клюева “козлозодом”, что “прободал живую печень России”...

Таков финал деяния Петрова... Таков финал диалога с Пушкиным. И в последней, неоконченной части снова возникает Настенька, Аринушкина дочка, любимая клюевская героиня, явление которой – знак Воскресения Святой Руси...

Впервые в литературе, не только в русской, но вообще в мировой литературе была явлена философия “людей от земли”. Народ, самостоятельно создавший стройную систему знаний, идей, представлений о природе и мире и месте человека в нём, о своём предназначении и связи жизни отдельного человека со всем мироустройством, о взаимосвязи жизни людей с жизнью Мирового Космоса. Жизнь героев поэмы вплетена в жизнь всего мироздания и строится по непреложным законам. Народ осмысливает свою жизнь, смысл своего бытия по самым высоким критериям, при этом непременно стараясь им соответствовать. Он осознаёт всё сущее, сообразуясь со своим представлением о высшем смысле человеческой жизни. Герои поэмы живут и действуют в повседневности в соответствии с высшими духовными ценностями, заповеданными Богом, являя самоотверженность, великодушие, любовь к сущему в каждом своём поступке.

Бог есть Любовь. И любовью дышит каждое их слово, ею отмечен каждый их жест. Любвью к родным – близким и дальним, к природе, земле, небу – любовью ко всему миру и к его Творцу.

Клюев явил стройную прекрасную систему идей и ценностей, знаний о природе и мироздании, разработанную самим народом, показал, что народ, создавший свою философию, живёт в строгом соответствии с ней. Люди-труженики согласуют свою жизнь во всех её проявлениях (от строительства храма до пошива одежды) с открытыми ими закономерностями Божественного устройства Вселенной и Земли как её части.

Даже в гениальной “Песни о Гайавате” Лонгфелло сосредоточил своё внимание на описании культуры и быта героев, а не на том, как они осмысливают своё предназначение. Даже Пушкин в том же “Евгении Онегине” не попытался передать философии блестяще описанного им дворянского общества, высшего света.

Клюев открыл глаза миру на то, что народ способен не только создавать материальную и духовную культуру, но самостоятельно осмыслить своё бытие и мироздание в целом, сформировать своё отношение к любому объекту или субъекту природы и общества. И народная философия – философия более высокого порядка, чем философские доктрины специалистов, ибо она абсолютно жизненна и сопряжена с глубинными процессами Духа и Космоса.

“То, для чего я родился”. Эти слова Клюева передал мне Анатолий Яр-Кравченко, когда говорил о “Песни”. Неудивительно, что Николай горько печалился впоследствии от сознания того, что не имеет возможности завершить главный труд своей жизни.

* * *

“Песнь о Великой Матери” Клюев писал на протяжении двух лет в Вятской деревне Потрепухино и в Сочи, куда выезжал в дом отдыха по путёвке Литфонда, будучи уже признанным инвалидом второй группы. Время работы над поэмой совпало с началом новой революции – революции в русской деревне.

Революция эта называлась коллективизацией. И как всякая революция – она включала в себя разнонаправленные потоки, проявления воли государственной власти, воли неуправляемой стихии и дикой кровавой самодетельности на отдельно взятых участках.

Цель была вполне благородная: выйти из “хлебного кризиса”, многократно описанного – “передышка” в виде нэпа уже никак не могла соответствовать новым условиям, страна фактически переходила на военное положение, с 1927-го каждый год ждали начала военных действий. Вовлечь в нормальную жизнь большинство “экономически неэффективных” крестьян – в том состоянии, в каком находилось сельское хозяйство, “экономически эффективными” в деревне могли быть лишь немногие, преимущественно пользовавшиеся наёмным трудом. Наконец, сломать сложившуюся систему социального расслоения в деревне.

В ноябре 1929 года Пленум ЦК ВКП (б) объявил о “грядущей ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации”. Важно подчеркнуть – “как класса”. Никто не объявлял поначалу, что кулаков будут ликвидировать, как людей.

Была образована комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) под руководством наркома земледелия (ничего в нём не смыслившего) Я. А. Яковлева (Эпштейна). В неё вошли секретари партийных организаций разных крайкомов: А. Андреев, М. Хатаевич, Б. Шеболдаев, Ф. Голощёкин, И. Варейкис, К. Бауман, а также генеральный секретарь ЦК КП(б) Украины С. Косиор. Это и были подлинные “герои” начинающейся революции. К началу Великой Отечественной из них всех остался в живых и на свободе лишь один – А. Андреев. Все остальные получили своё, заработанное по справедливости.

18 декабря комиссия утвердила проект о раскулачивании. 5 января 1930 года Политбюро утвердило проект постановления ЦК ВКП(б) “О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству”, а 30 января того же года было принято постановление “О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районе сплошной коллективизации”.

Даже если учесть все приводящие обстоятельства и насущную жизненную необходимость создания колхозов, всё преимущество которых быстро поняла не только крестьянская беднота, но и многие середняки – темпы происходящего кажутся совершенно дикими. Однако они перестают быть такими, если вспомнить о крахе Нью-Йоркской биржи и начале Великой Депрессии. Кризис, охвативший весь Западный мир, представился мощным трамплином для индустриализации в стране с полностью национализированной промышленностью и плановой экономикой.

Так оно в конце концов и получилось. Только это не тот случай, когда победителей не судят. Уже 2 марта в “Правде” появилась статья Сталина “Головокружение от успехов”, а 14 марта ЦК ВКП (б) принял постановление “О борьбе с искривлениями линии партии в колхозном движении”, в котором, в частности, говорилось: “Если бы не были тогда немедленно приняты меры против искривлений партлинии, мы имели бы теперь широкую волну повстанческих крестьянских выступлений, добрая половина наших “низовых” работников была бы перебита крестьянами, был бы сорван сев, было бы подорвано колхозное строительство и было бы поставлено под угрозу наше внутреннее и внешнее положение”.

Крестьянские выступления всё же были – и весьма обильные. Их и не могло не быть, если учесть, что и начальники, и исполнители (вплоть до самых рядовых) были людьми, омытыми кровью Гражданской войны, и, толком ничего не смысля в порученном деле, других способов исполнения, чем насилие, попросту не знали. А если ещё учесть, что многие из них на зоологическом уровне ненавидели русского крестьянина и Русскую Православную церковь...

Только в Сибири – вотчине Роберта Эйхе – с января по март 1930 года было 65 крестьянских вооружённых выступлений. В Средне-Волжском крае, где командовал Мендель Хатаевич – 718. В Центрально-Чернозёмной области (там распоряжался Иосиф Варейкис) – 1170.

Но никакие исторические выкладки, никакая сухая статистика не скажет того, что скажут живые голоса той эпохи – в сохранившихся письмах крестьян во власть.

“Народ не верит красивым словам на бумаге, а покажи на деле. Мы великами вели индивидуальное сельское хозяйство, а теперь так скоро перейти на

коллективное боимся, боимся разориться. Кроме того, у нас ещё дикие характеры, мы при коллективном хозяйстве не помиримся, загрызём друг друга и всё одно ничего хорошего не получится. Всякое принуждение и насилие над народом мы считаем подрыв советской власти и контрреволюция...”

“В центре, вероятно, думают, что крестьянство добровольно организуется в колхозы и коммуны, а на самом деле получается совсем обратное. Для крестьянина ставят такие условия, живя в которых, ты всё-таки вынужден пойти в коммуну. Если не пойдёшь, то найдут маломальскую причину и выведут тебя из дому. Крестьянство и едет куда-то на произвол судьбы, каждый боится того, что его разорят...”

“Говорят, если вы будете ходить в церковь, вам не будут давать нигде ни соли, ни керосина и никакого продукта и все ставят угрозы, повышают голоса и налагают в двойном размере продналог. Поэтому, хоть и нежелательно отречься от православной религии, но ввиду необходимости приходится отказываться не по своему желанию, а под угрозами и насилием...”

“Добрый день, дедушка Калинин. Пишу тебе письмо о нашем колхозе. Сперва силой загоняли в колхоз и Соловками стращали, груды золота обещали, а потом, когда выпустил статью т. Сталин о головокружении, все вышли из колхоза. Осталось только 10 хозяйств, из них 4 бедняцких и 6 середняцких. Нам, колхозникам, нет проходу. Папу с мамой ругают за то, что записались в колхоз, а меня с братом бьют ребята, не колхозники... Крестьяне обещают варфоломеевскую ночь и говорят, что когда будете пахать, “то будем бить – кос хватит...”

“Агенты ГПУ, – соревнуясь между собой по количеству арестов, являются в дома середняка ночью без предъявления ордера, хватают крестьян в лёгких пиджачках с краюхой за пазухой и везут за 200 вёрст, причём десятки вёрст приходится ехать на лошади и в лёгкой одежде замерзать...”

“Представитель местной власти – предрайсполкома говорит: “Если не войдёте в колхоз добровольно, то мы вас загоним силой, и тогда не пойдёте – то будущей осенью и летом всё равно выпотрошим, как курят”.

Никакой разъяснительной работы по коллективизации не проводится, и крестьянство, конечно, не представляет, что ожидает их в колхозах. На вопрос, чем же мы будем кормиться до нового урожая и чем кормить и одевать семью – бывают такие ответы: “Это дело ваше, колхоз об этом заботиться не будет...”

“Статья ЦК ВКП(б) “О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении” нисколько мнение крестьян не изменила. Крестьяне это поняли, как оправдание ЦК ВКП(б) перед массами, что как будто ни ЦК, ни наша центральная власть ничего не знали о том, как строится социализм в деревне... И если допустить такое предположение, что в самом деле наша компартия, наша советская власть были настолько слепы, что до этого времени не замечали того, как классовые враги, примазавшиеся к партии, искривляли партлинию, то получится такой вывод, что у нас на местах свергнут советскую власть, а в центре будут думать: “А у нас ещё советская власть существует”...”

“Когда-то был переворот земной коры, и остались жить более сильные, приспособившиеся люди. Так и теперь в СССР останутся только самые стойкие, крепкие. Говорят, надо переживать, надо быть сознательным, но переживать нет уже сил. В СССР всё стало историческим, всё стало рекордным, и люди должны быть рекордными; исторические лапти – стоят 5 руб., исторический хлеб – 18 руб. пуд... Пара сапог валеных – 100 и 125 руб. Керосина первого сорта – пол-литра на неделю и обязательно в очереди – этот спутник новой жизни. Даже письмо написать не на чем. Жизнь стала невиданной на земной коре... Скажи спички плохи – и в ГПУ тащат, – говорят, кулацкая агитация... Люди поделены на 20 сортов. Вот я и стал чуждый элемент – враг народа. Нет, я не был им и не буду, будущее покажет, кто прав...”

“... Мы воевали за землю, отвоевали её у помещиков, а теперь вы на место помещиков, если и забрали землю, нам не даёте и сами ей дела не дадите. Попрыскавали рабочих к нам для проведения коллективизации, они по ночам запрягают лошадей и ездят к бабам, режут стельных коров, в общем, везде подрыв советской власти, бюрократизм. Взяли в руки власть и мучают людей, чтобы народ восстал, и это будет в скором времени...”

“Призрак голода безжалостно рисуется создавшейся действительностью. Ходят усиленные слухи о падении советской власти в ближайшие дни. Лица, близкие контрреволюции, проговариваются, что решено засаживать в тюрьмы возможно больше партийцев и честных советских людей, дабы легче произвести переворот. Недовольство среди крестьян, среди рабочих и даже партийцев растёт. Милиция и суд перестали быть народными...”

“Боевая работа по раскулачиванию началась в 20 числах января. На собраниях батрацко-бедняцких групп поставлены вопросы о кулаке, намечены списки кулаков и приступлено к ликвидации кулацкого имущества... Ярость бедняков кое-где пришлось сдерживать... Были случаи, когда беднота требовала выселить и ликвидировать большое количество кулаков и зажиточных...”

“Наша советская страна подучилась у атамана Анненкова. Тот в Сибири тоже так расправлялся с трудовым населением. Сейчас из домов выбрасываются полуголодные и полураздетые дети, плач и крики раздаются ужасные. Об этом значит дошли слухи и до иностранцев, которые стали тоже протестовать. Мы же даём им ответ, что у нас, мол, этого нет, у нас только добровольный труд. Крестьяне смеются, что вы так врётё в своих газетах... Кто бы ни приехал, грозит нам тюрьмой и ссылкой...”

“Если... нас, бедняков и партизанов, будут силой гнать в колхоз, то мы спалим красным петухом все колхозские дома и всё колхозное богатство. И не только спалим ближайšie колхозы, но и поедем дальше, где есть крупные колхозы, жечь их. Ведь война над головой, а вы всё ещё делаете такие вспышки... Даёшь нам свободу, которую мы завоевали, а иначе жжём колхозы и идём на них войной...”

“Левые оппортунисты на Климовщине, Могилёвского округа, совсем одурели. Прочитавши новый устав сельскохозяйственных артелей и статью т. Сталина, они стали собирать сходы и говорить крестьянам, что это написал статью не т. Сталин, а какой-то кулак, а если и Сталин, так это не вождь, а подрывщик пролетариата. Кто читает газету и правильно разъясняет её крестьянам, того унтер-Пришибеевы называют подкулачниками и угрожают Соловками...”

“После объявления статьи т. Сталина в деревнях как будто нет советской власти. Население распоясывается, партия и комсомол также. Кулачество выбрало статью Сталина как мощное орудие борьбы.

Сейчас кулачество осмелело, приходит в сельсовет и требует удостоверить постановление схода о том, что он нем кулак.

Кулаки опять стали во главе сходов, у низовой власти осталась надежда на ОГПУ...”

Слишком много накопилось всего в деревне не только даже с дореволюционных времён — со второй половины XIX века, с момента отмены крепостного права. Узлы, которые пытался развязать (скорее, разрубить вопреки воле большинства крестьян) Столыпин, закручивались ещё больше, и на “развязку” не оставалось ни времени, ни возможностей. Раскулачивание оттягивали до последнего момента, до получения известий о крахе Нью-Йоркской биржи.

Тут-то и “подхлестнули коней”... Деревня уже была на грани взрыва — а единственная возможность вписать её в общую программу индустриального прорыва, не создавая колхозов, оставалась одна: создание помещичьих (уже из новых “помещиков”) латифундий.

И это была бы такая бочка бензина в разгорающееся пламя, что только-только затихнувшая Гражданская чем-то не слишком серьёзным бы показалась... И теми же революционными методами, с теми же людьми, не отвыкшими от запаха человеческой крови, начали коллективизировать русскую деревню.

Для Клюева, Клычкова, их друзей и соратников всё происходящее стало страшным потрясением.

В 1992 году в печать проникли выдержки из “Агентурного дела”, заведённого на Сергея Антоновича Клычкова. Бесспорно, подобное дело существует и на Клюева, но доступа к нему нет и не предвидится. Кое-какие документы публиковали под псевдонимами в новую эпоху всеобщего развала некоторые бывшие работники Комитета государственной безопасности, пользуясь наступившей смутой. Этими документами мы и пользуемся ныне при описании событий тех далёких времён.

Возле Клычкова вертелись агенты с кличками “Шмель” и “Михайлов”. Они-то и осведомляли своё начальство о том, что Клычков “пьянствует и ве-

дёт себя неприлично в Доме писателей, говорит, что крестьянское движение идёт по неверному пути. Крестьяне при таком положении станут вскоре волками. Кажется, эта коллективизация разразится большой бедой...”

“Клычков расшифровал так “КВЖД” — “Куда ветер жидовский дует”. Другой анекдот о том, как один гражданин спрашивает другого: “Почему ныне наступила поздно зима?”, а тот отвечает “Потому, что крестьянин не торжествует”.

“...Клычков, будучи пьяным, в столовой Дома писателя кричал: “Долой советскую власть”... Клычков, на другой день после опубликования в печати статьи Сталина “Головокружение от успехов” в столовой Дома писателя снова громил большевиков. Правда, Клычков был пьян, но он говорил так искренне и убеждённо, что было видно — он выражает свою истинную, неприкрашенную сущность. Ключев громогласно кричал, что “этот азиат — болван и он русских обмануть не сможет. Не купите ему больше крестьян лживыми и подлыми своими статейками. Никто уже ему не поверит”. Клычков также утверждал, что колхозное строительство является основным злом, которое ведёт страну к обнищанию и разорению...”

А через несколько лет арестованный Клычков давал показания о своих “связях и контактах”, когда Ключев уже пропадал в ссылке. Клычков, не будучи в силах противостоять следователям, не стеснявшимся в применении “мер физического воздействия”, пытался воздействовать на них сам своей “откровенностью”... После описаний встреч с экономистами Н. Сухановым (Гиммером) и Н. Кондратьевым, также к этому времени арестованными, он перешёл к Николаю Ключеву.

“Хочу коснуться дружбы с Ключевым, очень многое в моей жизни и в сознании определившей. Я не буду говорить о всём нашем знакомстве на протяжении почти трёх десятков лет. Скажу лишь о московском периоде, то есть до 1934 года.

Мы питались из одного кулацкого корыта, в котором сама история уже вышибла дно. Облизывали его с краешков! Наши разговоры были до зевоты однотипны и крайне контрреволюционны. О чём могли говорить два призрака из чёрной сотни? “Настало царство сатаны, всё нам родное и любое нам уничтожается с быстротой неимоверной. Деревня дыбом, мужик — колесом!”...

Разговоры эти преисполнены самой безысходной мрачности. Одна страшная история шла за другой (там ребёнка нашли в ватерклозете, там целую деревню с ребятами вывели на голое место — и в этом роде). Всё наполнило отчаянием и злобой. Злобой мы питались, и жить нам помогала лишь надежда на гибель антихристовой власти. На интервенцию надеялись, не скрою, а не на Бога. Выход был для нас и в стихах.

Я в этот период написал “В гостях у журавлей” и штук двадцать явно контрреволюционных стихотворений, не вошедших в книжку, но которые я нередко читал и Ключеву, и другим поэтам таких же настроений, что и мои: Наседкину, Орешину, Кириллову, Герасимову, Васильеву Павлу, Приблудному и другим...”

“Интервенция” здесь, конечно, “от лукавого”, как и прочие “художественные подробности”, которые рисовало уже помутившееся сознание Сергея Антоновича. Но основная суть разговоров с Ключевым передана точно — и велись эти разговоры ещё до переезда Ключева в Москву.

А “оперативные материалы” доставлялись не только гепеушному начальству. С ними, бесспорно, знакомились и начальство высшее.

Уже в 1978 году престарелый Вячеслав Михайлович Молотов, требовавший беспощадно бить по кулаку, отвечал на вопросы Феликса Чуева о тех трагических днях.

— Деревня сразу поднялась к коллективизации. Начался бурный процесс, какого мы и не предполагали. Получилось гораздо лучше, удачнее. Что касается раскулачивания, то в постановлении ЦК 5 января 1930 года отмечалось, где, в каких областях проводить коллективизацию, но, конечно, перегибы были, и немалые, и Сталин об этом говорил...

Я понимал крестьянских писателей: им жаль мужика. Но что поделаешь? Без жертв тут было не обойтись. Говорят, что Ленин бы не стал так поступать. Ленин в таких делах был посуровее Сталина. Многие говорят, что Ленин бы сам пересмотрел свои положения о диктатуре пролетариата, что он не был догматиком и т. п. Это им очень так хотелось бы, чтоб он пересмотрел...”

...Клюев готовился к переезду в Москву. В Ленинграде ему было делать уже нечего. Дни эти он при каждом удобном случае проводил с Анатолием.

“День и ночь заботливо пестует меня Клюев. Ни раскрыться, ни даже подумать ни о чём нельзя, чтоб он не предупредил меня своей тёплой заботой. Светлый мой друг. Я люблю его несказанно. Говорим с ним много. Он читает свои стихи из “Песнослава”. Поёт былины. Говорит о покаянии. О вере. Выводим вместе, что вера – это любовь...

Раз он поёт былину. Плачет и говорит:

– Русскому человеку всегда хорошо поплакать.

Встал как-то и, подняв веки, воспалённые слезами, промолвил:

– Тяжелы ступени чужих лестниц. Знаешь, хочется свой угол наладить”
(Из записок Анатолия Яра).

В Москву, где наладит он своё последнее вольное жильё, переедет Николай, обменяв питерскую площадь, в начале апреля 1932 года.

(Продолжение следует)